

## Гестаповна

Памяти брата Сергея

В первые послевоенные годы на Французском бульваре, в районе Отрады и примыкающих переулков, была известна одна пожилая интеллигентная дама как непривередливая и самая недорогая учительница музыки. Это была пора, когда родители многих моих сверстников всячески пытались стереть из нашей памяти неустроенность и заброшенность военного времени. Не то чтобы все желали видеть своих детей пианистами и скрипачами, просто стремились дать отпрыскам достойное воспитание. Учили играть на фортепьяно, аккордеоне, на трубе, а одной девочке выпала виолончель, и ее все жалели. У моего младшего брата Сергея обнаружился а б с о л ю т н ы й (!) музыкальный слух, и он стал учиться по классу скрипки в школе Столярского. Но брат скрипку невзлюбил, и когда дело доходило до домашнего задания, он прямо заявлял родителям:

— А я к вам со скрипкой стоять не нанимался.

Когда он играл свои упражнения, наш отец подчеркнуто заметно укладывал ремень на ближний стул. Брат обливался слезами и еще чем-то из носа, но все-таки вытягивал из скрипки устрашающие звуки. Я на это время просила отпустить меня погулять. Кто бы сказал, почему по радио скрипка звучит нормально, а в доме — жуть?

Мне тоже угрожала скрипка, но мама сказала:

— Для девочки лучше фортепьяно. Даже если и не станет пианисткой, всегда будет душой компании.

Так мне выпало фортепьяно. Тоже не подарок. Я представляла это учение так: придет учительница, откроет секрет — как это делается, и я быстро-быстро начну играть разные песни, дети вокруг меня будут петь, а я буду в компании душой. Наш папа вообще не учился музыке, а играл на мандолине, гитаре и пианино — что хочешь. И он был душой всякой компании. И у мамы в детстве была учительница музыки, но играть мама не научилась, у нее не было музыкального слуха. Она была душой компании по стихам и шуткам.

У брата отношения со скрипкой так и не наладились, и его пришлось забрать из знаменитой школы. Мама сказала, что он относится к инструменту (скрипке) устойчиво варварски, а возить его в школу и из школы и быть свидетелями ежевечернего садизма никаких сил нет. Было решено, что мы оба под присмотром Анны Порфирьевны (Анюты, Аню, Ньюню,

Ниты) будем заниматься дома. К нам будет приходиться учительница. Ее зовут Юлия Густавовна.

— Гестаповна?! — вскричал брат. — Я с гестаповными заниматься не буду!

— Еще как будешь, — сказал папа. — Научись выговаривать правильно ее отчество: Гус-та-вов-на. Повтори. Человека обижает, когда неправильно произносят его имя.

И вот она пришла. Маленькая, старая, сморщенная. Ее одежда, включая шляпку, была выцветшая, цвета жидкого кофе с молоком. Бедность и выношенность ее наряда даже в то нищее время выделялись ветхостью. Она была не просто бедна, а бедна как-то по-старинному. Пелерина на ее пальто (папа сказал, что такое пальто называется салоп) была обшита каким-то замысловатым шнуром, в котором узелки и стеклярус еще сохранили свои цвета. За этим мне мерещилась какая-то тайна. Когда она сняла пальто, ее юбка и блуза — такого же цвета, как и салоп — мне показались уже где-то виденными, то ли на старой открытке, то ли в какой-то книжке.

— Вам известны мои условия? — спросила она маму. — Знаете ли вы, что я ничего не играю? Я показываю, как надо играть, но сама стараюсь не касаться клавишей. Только в крайних случаях.

— Да-да, — сказала мама. — У вас очень хорошие рекомендации.

— Ну и славно. Мне бы не хотелось объяснять, почему так.

— Я знаю про успехи ваших учеников. Этого достаточно.

Так мы начали заниматься с Юлией Густавовной.

Каждый раз она приносила с собой толщенную папку для нот. На одной из ее сторон золотым — тоже выцветшим — тиснением было написано слово MUSIK, на другой — тоже тиснением — портрет Бетховена. И — началось! В нашу жизнь вошли новые имена: Гречанинов, Черни, Гедике, Майкапар. Гаммы, упражнения, этюды. Этюды, упражнения, гаммы.

— Считаем! Кисти круглые! Представьте, что вы держите в руке круглое яблоко. Локти! Спина! Все участвует. Раз — и! Два — и! — командовала Юлия Густавовна и отбивала такт своими ладошками.

Вот ладошки у нее были белые. Белые-белые. Очень хорошо вымытые. Всегда хотелось свои куда-нибудь спрятать, потому что чернила на наших пальцах отмывались только по субботам, в банный день, когда Аня терла их колючей пемзой. Но таких рук, как у Юлии Густавовны, я лично иметь не хотела бы. Дело не в чистоте. Ее руки были очень узкими, а пальцы длинные и худые, тонкие, как шупальца. И это еще не все. Кожа на ру-

ках тоже изнашивалась, как все ее вещи, и была похожа на приклеенную папиросную бумагу, и при этом она еще была всегда холодной. Когда она клала свою ладонь на наши руки (Выше локоть! Кисть круглая!), я терпела, потому что была старше. А брат просто сбрасывал ее руку.

— Еще раз попробуем, — говорила Юлия Густавовна, не реагируя на подобные выходки. — Немного лучше. Молодец. Еще раз!

И так — дважды в неделю. По полтора часа.

Юлия Густавовна никогда не принимала приглашение отобедать или выпить чаю. Когда у нас собирали на стол, она поспешно заканчивала урок и уходила.

Больше всего от наших занятий страдала Анна Порфирьевна (Нита, Аню, Ньюню — я эти имена перечисляю, потому что в детстве мы так ее называли). Наши занятия — по полтора часа на каждого — были для нее тяжким испытанием. Особенно невзлюбила она Майкапара. (Звиздки цей хранцуз узьяся на мою голову!) А мы объясняли, что он написал "Бирюльки", а она: "Правда, що бирюльки якись. Якбы щось путне!". Между тем она строго выполняла предписание Юлии Густавовны не позволять нам играть по слуху. Как только она слышала какой-нибудь мотив, тут же принимала меры (Писни не дрымбать!).

Наконец настало время, когда мы стали играть **н а с т о я щ и е в е щ и**: "Менуэт" Моцарта, "Времена года" Чайковского. Потом мы выучили Бетховенского "Сурка". Со словами. Мы играли и пели. А Юлия Густавовна нам подпевала. У нее оказался совсем не противный голос. Песня про бедного бездомного мальчика нас очень разжалобила. Я, конечно, держала себя в руках, а Анюта и Сережа всхлипывали.

Когда дело дошло до игры **в ч е т ы р е** руки, я стала часто заниматься у моей одноклассницы Юли Грельской. Мне всегда казалось, что Юлия Густавовна к Грельской относится лучше, чем ко мне. Может, потому, что они были тезками? Или потому, что она **е щ е р а н ь ш е** была знакома с Юлиными родителями. У Грельских Юлия Густавовна **п л а ч а й**.

Юлины родители были не как наши. Они были старше, но не в этом дело. Они были **д р у г и е**. Сергей Иванович, полковник в отставке, казался мне человеком подозрительным, хотя и симпатичным. Когда мы с жаром говорили: сбор, слет, спевка, он как-то узко улыбался. Мама Юли, Маргарита Георгиевна, была родом из Астрахани и очень красиво разговаривала. Она не стеснялась рассказывать, что ее отец — там, в Астрахани, — был купцом первой **г и л ь д и и**, и детей их было двадцать, поэтому **м а м е н ь к а** не работала, а **д а в а л а** им воспитание. Всех своих сестер

и братьев, которые жили где-то далеко, она называла Тамуся, Ануся, Николаша и так далее. Я думала, что все они еще маленькие. А однажды приехала погостить сестра Любаша. Она оказалась старухой, как Юлия Густавовна. И Маргариту Георгиевну называла Маргоша, Маргошенька. У них в доме так было принято. Там всех называли ласково. Маргарита Георгиевна, как сказала моя мама, очень любит уменьшительные с у ф ф и к сы.

У Грельских в двух маленьких комнатках было очень много безделушек, а на стенах — фотографии всей семьи: родители Юли в молодости, родители родителей, братья-сестры — все на толстых старинных паспарту. И, конечно, Юли в детстве. Но больше всего — развешанных, облокоченных на что-то — фотопортретов Маргариты Георгиевны. В шляпе, без шляпы, с веером, с зонтиком, с красивой повязкой. А под одним портретом была надпись: "Спешу сказать Вам от души: Вы здесь, как всюду хороши". Я знаю, что моя мама назвала все эти картинки мещанством, и я, конечно, с ней была согласна. Но я бы не возражала, если бы под моим портретом кто-нибудь написал такие стихи.

Однажды Юлия Густавовна принесла к Грельским странные ноты — сложенный вдвое большой лист плотной пожелтевшей бумаги, как бы вырванный из середины большой тетради. На первой странице, которая служила обложкой, по п е р и м е т р у (мы недавно проходили) тушью нарисована изгибающаяся ветка с листками и цветочками. (Маргарита Георгиевна сказала: "Какая чудная в и н ь е т к а!".) А в центре — портрет певицы в цыганском наряде. Честно говоря, эти ноты были принесены не для нас. Мы заинтересовались картинкой.

— Если вам любопытно, — сказала Юлия Густавовна, — можете попробовать разыграть самостоятельно в четыре руки. Без пения. Это старинный цыганский романс. Слова интереса не представляют.

Как только Юлия Густавовна ушла, мы сразу взялись за р о м а н с. Мы играли его не в четыре, а в две руки — левая Юлина, правая — моя. Мы торопились разложить с л о в а по нотам. Слова — вот что было главное! О Любви!

Ты мне ласки дарил!  
Целовал, не любя!  
И шутя, разлюбил...  
Так сгублю ж я тебя!  
И-шу-тя-а раз-любил!  
Так сгуб-лю я тебя!  
О-том-щу! О-том-щу!

Сначала мы пели, как написано. Потом на три счета — как вальс:

Так-сгуб-люж я-те-бя!

Пели, как народную песню, протяжно:

Ты мне ла-аа-а-ски дариллл.

Ох!..

Цы-лава-а-аллл не любя...

Ох!

Потом — как марш:

А-тамщу, ать-два!

А-тамщу, ать-два!

И еще, если получалось, подсвистывали.

Мargarита Георгиевна смеялась до слез. Сергей Иванович терпел молча.

Соседи постучали в стенку. Сергей Иванович подошел к нам командирским шагом. Скомандовал:

— Руки убрать! — и захлопнул крышку пианино. — Концерт окончен.

Вы уже всем отомстили.

Юлия же Густавовна, которой наверняка про наш концерт рассказали, урока по Романсу не спрашивала.

Постепенно и в нашем доме Юлия Густавовна понемногу оттаяла. После вечерних занятий оставалась пить чай с вареньем и при этом иногда рассказывала истории из своей жизни.

Она училась в одесской консерватории в эпоху Неждановой и других знаменитостей.

— Наша семья и о с е л а в Одессе, потому что в консерватории был очень сильный преподавательский состав. Меня готовили к пианистической деятельности, но не случилось.

— Почему же? — спросила мама.

— О, это очень печальная история. Жил на свете один молодой человек, многих достоинств. Мы были с ним п о м о л л е н ы. Он ушел в Белую армию... Вас это не смущает?

— Нет-нет, — сказал папа, а мама метнула на него один из своих строгих взглядов — в то время было трудно разобраться, "что такое хорошо и что такое плохо".

— На войне этой он погиб. Я решила, что будет несправедливо, если после его смерти я буду разъезжать с концертами, наслаждаться музыкой. Мне будут аплодировать... И я отказалась от концертирования.

— И никогда не пожалели об этом? — спросила мама.

— Нет. Согласитесь, что это не большая цена за человеческую жизнь... Так я стала преподавателем... Потом, много позже, не стало моей мамы. Мы были на свете одни. Папа умер, когда я была ребенком. Но у меня осталась музыка... То есть — какая-то радость. Я сочла, что не должна радоваться, когда никого не осталось... Вот только музыка... И я отказалась от нее. Я даже продала рояль, чтобы он не искушал меня. Так я стала учительницей музыки, которая не играет... Такое вот чудо природы, — добавила она и улыбнулась. — Я хотела полного сосредоточенного одиночества, чтобы постоянно думать о тех, кого нет. Этого не получилось. Когда живешь среди людей, привязываешься к ним. Вот, к примеру, я сижу сейчас с вами. Мы пьем чай, разговариваем. Человеку свойственно сближаться, отдаляться... Но отменять что-то в моих давних решениях...

— Но они исковеркали вашу жизнь! — воскликнула мама. — Вот так, "изречь монашеский обет..."?

— Нет-нет. Совсем другое. Это не обет и не зарок. Просто другое качество жизни.

Так понемногу все начало разъясняться.

Однажды Юлия Густавовна принесла бумажный пакет. Когда попили чай, она этот пакет положила на стол.

— Я тут принесла для вас несколько извещений о смерти моего дяди.

Она развернула пачку старых пожелтевших газет. Я запомнила "Санкт-Петербургские ведомости", напечатанные по-дореволюционному. С ять и с твердыми знаками в конце слов. Там было извещение о том, что знаменитый польский писатель Генрик Сенкевич скончался в 1916 году и т. д.

— "Камо градеши"?! — воскликнула мама. — Ваш дядя Генрик Сенкевич? Автор "Камо градеши"?

— Да, так случилось.

— Если не ошибаюсь, Генрик Сенкевич был одним из первых нобелевских лауреатов в о б л а с т и литературы?

— Да, он был представлен за трилогию и многое другое. Я его видела только в детстве, так что помню плохо. Он долго жил в Швейцарии. И умер там. Мы с мамой не могли поехать на похороны, потому что шла мировая война. В 1924 году его п р а х перевезли в Польшу и похоронили на родине. Мы тоже не смогли поехать. По другой причине. Так что я никогда не была на его могиле.

Бывали еще случаи, когда Юлия Густавовна приносила старые концертные и театральные афиши и программки. На них обязательно было

напечатано: "С дозволения начальства" или "Печать разрешена полицмейстером".

— У меня завалилось еще кое-что, — и она показала нам две узкие, напечатанные на тонкой пожелтевшей бумаге концертные программки. — Может, вам будет интересно.

Интересно? Еще как интересно! "В зале дворянского собрания имеет быть концерт в пользу недостаточных учениц женской гимназии".

— Что значит — недостаточные? Они недостаточно учились?

— Совсем нет. Это означает, что эти ученицы из бедных семейств, и им нужно помочь окончить курс. А здесь, взгляните, объявление о концерте в пользу приюта общества вспоможения неимущим. Бедным то есть. В прежнее время делалось много благотворительных дел.

— А нам на уроке истории учительница сказала, что это была жалкая благотворительность, и она унижала человека.

— Ну, учительнице истории виднее. Я же преподаю музыку.

— А вот тут написано, — сказала мама, — "исп. Ю.Г. Сенкевич". Вы играли в этом концерте?

— В обоих. В одном я играла *Scherzo* Шопена, в другом аккомпанировала певцу, который исполнял арию Демона из оперы Антона Рубинштейна "Демон": "Не плачь, дитя, не плачь напрасно...". Я много выступала в таких благотворительных концертах, еще когда училась в гимназии...

— А тут еще написано, — сказал брат, — "Рояль фабрики Беккер". А почему на нашем рояле "Беккер" написано не по-нашему?

— Оттого, что рояль немецкого мастера, оттого и написано по-немецки.

— Нашему "Беккеру" более ста лет, — сказала мама.

— Это и хорошо и плохо. Я бы посоветовала вызвать мастера.

Однажды она принесла несколько фотографий своей семьи. Не могу сказать, чем именно, но они отличались от фотографий родственников Грельских. Мне казалось, что они были з н а т н е е. Но не это важно. Важно то, что среди других там была фотография девочки-гимназистки! Я такой красоты никогда не видела! Светлые волосы тонкими локонами спускались на лоб и виски. Толстая светлая коса лежала на груди. А на темени был красиво уложен темный бант. Совсем не похожий на те торчащие банты, которые нам всем завязывали, туго до боли стягивая волосы; считалось — чем больше бант, тем больше ребенка любят. А бант гимназистки был похож на маленькую шляпку.

И это — не самое главное!

Главное — ее лицо. С большими светлыми глазами и тонким острым

носом. А губы! Их уголки были задраны вверх, как будто девочка только что отсмеялась или вот-вот начнет.

— Кто эта девочка? — спросила я.

— Не узнаешь? Совсем-совсем? Это же я гимназисткой, — сказала Юлия Густавовна...

...Я часами торчала перед зеркалом, защищая пальцами кожу на своем лице. Мне хотелось узнать, какой я буду, когда стану старой.

Я была веселая, счастливая девочка. Была уверена, что ни я, ни все, кого я люблю, никогда не состарятся и не умрут — война же кончилась. А фотография девочки — Юлии Густавовны — не то чтобы изменила мою жизнь, нет; внешне все оставалось по-прежнему: бег гурьбой "с весельем и отвагой". Но внутри — то сильно, то слабее — ощущалось присутствие знания о превращении чудной девочки в сморщенную маленькую старушку, не сохранившую ни одной черты.

Я не помню точно, как прекратились наши занятия. Началось с того, что Юлия Густавовна однажды подняла крышку рояля и увидела, что от колков пошли мелкие трещины. Ремонт стоил дорого. Приходили мастера. Говорили: "Беккер, Беккер. Сложная работа", — и запрашивали большие деньги. Денег на ремонт не было. Занятия откладывались. Маме многие советовали купить подержанное пианино. То есть старое, но в хорошем состоянии, а рояль выбросить — вон сколько места занимает. Или, в крайнем случае, к а р д и н а л ь н о переделать. Но мама отвечала, что на кардинальный ремонт вряд ли в о б о з р и м о м будущем появятся деньги, а папа сказал, что он попытается раздобыть какую-то замечательную смолу и сам зашпаклюет трещины. А Аня пробурчала: "Ще асфальту цюмо роялю не хватало". А мама сказала: "Подождем, может, премия какая-нибудь... А пока мучить не будем, пусть лучше умрет своей смертью".

Так занятия наши с Юлией Густавовной откладывались, а потом и вовсе прекратились. У нас появились новые интересы: спортивная школа, Дом техники, Дворец пионеров, велосипед — по очереди — и еще много чего.

Юля Грельская пошла на гимнастику, и у нее там все хорошо получалось.

С Юлией Густавовной мы совсем перестали видеться. Иногда кто-то говорил, что надо бы ее проведать. Но никто не собрался. Однажды Анна Порфирьевна случайно встретилась с Маргаритой Георгиевной на Пироговской, и они стали прохаживаться. Дошли до Ясной, а там, за углом, где-

то на Уютной недалеко был особняк, поделенный на многих, — с сараями, пристройками, верандами. Там и жила Юлия Густавовна.

Возвратившись, Анюта сказала:

— Все. Гестаповны больше нет. Преставилась. Хотя она и в католицьку церкву ходыла, надо помянуть.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я плохо помню лицо Юлии Густавовны, а девочку с фотографии помню, как будто видела вчера. Знаю, что она и девочка-гимназистка — один и тот же человек. Но они несовместимы. Они — отдельно. Девочка на фотографии впечаталась в память. От нее исходил сигнал тревоги, который, как оказалось впоследствии, давно сложился в призыв: *memento mori*.

*Memento...*

ФРГ

